

*Владимир Кантор*  
Moskwa

### ЛЕВ ТОЛСТОЙ КАК ПРЕДШЕСТВЕННИК БОЛЬШЕВИЗМА

В России не было писателя, который до такой степени при жизни вкусил бы всю полноту земной славы. В 1898 г. Чехов писал Суворину:

8 августа я не буду у Толстого, во-первых, оттого, что холодно и сыро ехать к нему, и во-вторых — зачем ехать? Жизнь Толстого сплошной юбилей. И нет резона выделять какой-нибудь один день<sup>1</sup>.

Да и вообще в мире не было ни у кого из писателей при жизни такой славы, разве что у Гете, тоже обожествленном своими современниками. Паломники из всех стран мира приезжали к «яснополянскому мудрецу», его слово весило для людей, искавших духовности, более, нежели слово церковных иерархов, тем паче государственных чиновников. Два царя в России, говорили современники, один на троне — другой в Ясной Поляне<sup>2</sup>. В письме к Николаю II от 16 января 1902 г. писатель называет императора «Любезный брат»<sup>3</sup>. Влияние писателя и проповедника было безусловным среди читающей публики, т.е. тех людей, которые определяли в конечном счете выбор Россией ее дальнейшего пути, в ситуации, когда, говоря словами Толстого, «все перевернулось и только укладывается».

«Учитель жизни», «величайший русский писатель», «наш Лютер», однако и посильнее Лютера, ибо, опираясь на христианство, явился основателем новой религии (толстовства), Толстой при жизни стал фактом не

<sup>1</sup> *Переписка А. П. Чехова*. В 2-х т. Т. 1. Москва 1984, с. 261.

<sup>2</sup> Напомню известную дневниковую запись А. С. Суворина от 29 мая 1902 г.: «Два царя у нас: Николай II и Лев Толстой. Кто из них сильнее? Николай II ничего не может сделать с Толстым, не может поколебать его трон, тогда как Толстой, несомненно, колеблет трон Николая и его династии. Его проклинают, Синод имеет против него свое определение. Толстой отвечает, ответ расходится в рукописях и в заграничных газетах. Попробуй кто тронуть Толстого» (А. Суворин: *Дневник*. Москва 1992, с. 316).

<sup>3</sup> Л. Н. Толстой: *Собрание сочинений*. В 22-х т. Т. XIX–XX. Москва 1984, с. 502. В дальнейшем все ссылки на это издание даются прямо в тексте с указанием тома и страницы. Курсив в цитатах из Толстого, за исключением особо оговоренных случаев, — мой.

только духовного, но и социально-политического движения России. Даже Семен Франк, в юбилейной статье 1908 г. писавший, что «Толстому, несмотря на мировую славу, суждено жить в духовном одиночестве», тем не менее был уверен: «можно поставить в один ряд с популярностью Толстого» только «славу Вольтера, Гете, Виктора Гюго»<sup>4</sup>. Философ полагал, что интеллигенция охотнее слушала революционеров, социалистов, в том числе и марксистов-материалистов. Но так ли это? Когда в 1909 г. журнал «Вестник знания» провел анкету среди «трудовой интеллигенции» о самом читаемом писателе, то на первом месте оказался Лев Толстой (295 голосов), на втором — с огромным отрывом — Чарльз Дарвин (152 голоса), Карл Маркс был только на шестнадцатом (52 голоса)<sup>5</sup>. В подпочве взглядов интеллигенции почти всех направлений — прежде всего радикально-антисамодежавных (от Мережковского до Ленина) — находилась толстовская установка на отрицание существующего. Получилось, что, категорически не принимая Достоевского, победившие большевики признали с о и м именно Толстого. Не случайно, требовали, чтоб в социалистической литературе появился «новый Лев Толстой», который сможет с эпическим размахом воспеть н о в у ю Р о с с и ю. Не Пушкин, не Тургенев, не Лесков или Чехов, и уж, конечно, не Достоевский и не Бунин! И Франк с горестью констатировал, что «большевизм чувствует в Толстом своего единомышленника и великого предшественника»<sup>6</sup>.

Смысл его влияния был осознан не сразу. Андрей Белый, скажем, писал: «Лев Толстой — самое выдающееся явление русской жизни XIX столетия»<sup>7</sup>. Но по Толстому определяли и смысл движения России в XX веке. И прежде всего мыслители тех стран, которые пережили аналогичные попятные движения от ценностей западноевропейской цивилизации к языческому и антихристианскому варварству — прежде всего немцы. В 1923 г. русский мыслитель Степун заметил этот побеждающий Россию и Германию дух антиевропеизма: «Германия сейчас, быть может, не совсем Европа, в ее судьбе много общего с судьбою России»<sup>8</sup> Но уже в 1922 г. Томас Манн писал:

<sup>4</sup> С. Л. Франк: *Лев Толстой и русская интеллигенция*. В кн.: С. Л. Франк: *Русское мировоззрение*. СПб. 1996, с. 440.

<sup>5</sup> См.: «Родина» 1998. № 3, с. 72.

<sup>6</sup> С. Л. Франк: *Толстой и большевизм*. В кн.: С. Л. Франк: *Русское мировоззрение...*, с. 456–457. Нигилистический пафос Толстого как предшественника сил, совершивших Октябрьскую революцию, был внятн и наиболее зорким зарубежным мыслителям: «Толстовская клокочущая ненависть вещает против Европы, от которой он не в состоянии освободиться. Он ненавидит ее в себе, он ненавидит себя. Это делает Толстого отцом большевизма» (О. Шпенглер: *Закат Европы*. Т. 2. Москва 1998, с. 200). Правда, причины этой ненависти Шпенглер не видит, полагая ее в том, что Толстой был горожанин. Субстанция, родившая Толстого, однако более мощная и почвенная.

<sup>7</sup> А. Белый: *Трагедия творчества. Достоевский и Толстой*. В кн.: А. Белый: *Критика. Эстетика. Теория символизма*. В 2-х т. Т. 1. Москва 1994, с. 413.

<sup>8</sup> Ф. Степун: *Мысли о России*. «Современные записки» 1923, кн. 15, с. 292.

Западно-марксистский чекан, озаривший ясным светом великий переворот в стране Толстого [...], не мешает нам усмотреть в большевистском перевороте конец Петровской эпохи — западно-либеральствующей е в р о п е й с к о й эпохи в истории России, которая с этой революцией снова поворачивается лицом к Востоку. [...] Но разве с момента этого исторического поворота, пророком которого, хотя в Москве и не отдают в этом отчета, был Лев Толстой, — разве не с этого момента появилось в Западной Европе ощущение, что и она, и мы, и весь мир, а не только Россия, присутствуем при конце эпохи, эпохи буржуазно-гуманистической и либеральной, которая родилась в эпоху Возрождения, достигла расцвета в период французской революции, и сейчас мы присутствуем при ее последних судорогах и агонии?<sup>9</sup>

По словам Томаса Манна, Гёте и Толстой — идейные антагонисты. Гёте он определял «как представителя бюргерской эпохи», т.е. эпохи либерально-буржуазной, выразившей сам дух европеизма. Первый удар эта либерально-европейская культура получила от России, а затем и Германия отказалась от европейского идеала свободной и самостоятельной личности. Но если в Германии европейская буржуазность погибла в о п р е к и Гёте, то в России — б л а г о д а р я Толстому.

Мир семейной помещицкой идиллии Толстой противопоставил историческому процессу, как он порожден Западной Европой. Если в литературе с XVIII века входит тема крушения идиллии при ее столкновении с движением времени и историей (*Старосветские помещики*, Филемон и Бавкида в *Фаусте*, Обломов и Обломовка), то в *Войне и мире* Толстой рисует победу идиллии над историей. По Бахтину, для идиллии характерна органическая прикрепленность событий жизни «к родной стране со всеми ее уголками», в этом пространстве жили отцы и деды, будут жить деды и внуки. *Война и мир* вроде бы об этом, но не только. Толстой резко усложняет ситуацию, сопрягая идиллию с эпосом, помещает свою идиллию в эпическое время. Сознательность его обращения к эпическому мышлению очевидна: в 1863 г. он записал в дневник: «Эпический род мне становится один естественен» (XXI, 245).

Прочитую Бахтина о трех конститутивных чертах эпопеи:

1) предметом эпопеи служит национальное эпическое прошлое, «абсолютное прошлое», по терминологии Гёте и Шиллера; 2) источником эпопеи служит национальное предание (а не личный опыт и вырастающий на его основе свободный вымысел); 3) эпический мир отделен от современности, то есть от времени певца (автора и его слушателей), абсолютной эпической дистанцией<sup>10</sup>.

Иными словами, эпос — это как бы в н е и с т о р и ч е с к а я история, которая приобретает черты фаустовского «остановленного мгновения», вечности.

<sup>9</sup> Т. Манн: *Гёте и Толстой. Фрагменты к проблеме гуманизма*. В кн.: Т. Манн: *Собрание сочинаний*. В 10-ти т. Т. 9. Москва 1960, с. 598.

<sup>10</sup> М. М. Бахтин: *Эпос и роман*. В кн.: М. М. Бахтин: *Литературно-критические статьи*. Москва 1986, с. 401.

Эпическое время, в котором протекает идиллическая жизнь толстовских героев, есть национальное эпическое прошлое — победа России над владыкой почти всей Европы. Победители же — те, кто вырос среди помещичьих просторов. Дворяне — отцы и родоначальники современности, «лучшие», как гомеровские герои, они-то и спасли Россию совместно с народом<sup>11</sup>, а правительство, русские немцы, немецкие русские, разночинцы и бюрократы только мешали. Вот тот платоновско-гомеровский миф, который Толстой предложил России и миру.

Если Пушкин смел состязаться с западноевропейскими гениями на их духовной территории, а порой и на их материале (*Маленькие трагедии*), то Толстой пошел путем отказа и противопоставления русской личности европейской. Если Пушкин верил в русскую историю, как часть европейской, то Толстой вообще объявил историю немецкой выдумкой. Ему казалось, что живущие в динамике истории народы органически чужды статике российской жизни, прекрасной, но, на взгляд Запада, хаотичной и бесформенной. На вопрос, «какая сила движет народами?» (VII, 313), Толстой выстраивает следующее рассуждение:

Идет паровоз. Спрашивается, отчего он движется? Мужик говорит: это черт движет его. [...] Мужик неопровержим. Для того чтобы его опровергнуть, надо, чтобы кто-нибудь доказал ему, что нет черта, или чтобы другой мужик объяснил, что не черт, а немец движет паровоз. Только тогда из противоречий они увидят, что они оба не правы (VII, 318).

Иными словами, история движется либо сверхъестественной силой, либо прав Гегель (немец!). Немец, сказавший, что миром правит и историю движет мировой дух, воплощающийся в конкретных личностях<sup>12</sup>.

По замечанию Эйхенбаума, «у Пушкина было органическое и совершенно реальное ощущение исторического процесса и его законов — была в е р а в и с т о р и ю, тогда как у Толстого именно этого, самого важного, самого плодотворного для творчества ощущения не было»<sup>13</sup>. Но не просто не ощущал историю, он сознательно отказался от идеи истории.

<sup>11</sup> Стоит привести наблюдение современного писателя: «Как упиваются автор и персонажи своим дворянством! Толстому дорого все, что есть дворянство, и этим он заражает писателя. Герои же ни на минуту не забывают о своем происхождении. И почему они непременно в каждой фразе прибавляют в обращениях друг к другу титул, хоть сто раз кряду? Достоевский точно подметил, что Толстой — это писатель дворянства. Ведь, скажем, в прозе Пушкина отсутствует эта дворянская спесь, словно масляная пленка по воде покрывающая все содержание» (С. Боровиков: *В русском жанре. Над страницами «Войны и мира»*. «Новый мир» 1999, № 9, с. 178).

<sup>12</sup> Из дневника С. А. Толстой за 1870 г. о предпочтениях Толстого: «Восхищался Шопенгауэром, считал Гегеля пустым набором фраз» (С. А. Толстая: *Дневники*. В 2-х т. Т. 1. Москва 1978, с. 495).

<sup>13</sup> Б. М. Эйхенбаум: *Пушкин и Толстой*. В кн.: Б. М. Эйхенбаум: *О прозе. О поэзии. Сборник статей*. Ленинград 1986, с. 79.

Проблема тем не менее здесь есть. Роман вроде бы об известном историческом событии, а потому в русле попыток русских историков и мыслителей усвоить России идею истории, рожденную христианством. Однако роман не исторический, а эпический (своего рода наша *Песнь о Нибелунгах*) и в известном смысле не христианский. Попытка Вагнера возродить в XIX в. эпос Нибелунгов послужила прелюдией к антихристианскому восстанию немецкого духа. Толстовский эпос преодолевает историю, по сути дела отменяет ее, перенося сознание в некий не реальный, а идеальный хронотоп. Эпосом Толстой спасал свою идиллию, ибо, как полагал Бахтин, крушение идиллии начинается с включения ее в исторический процесс. Но вектор исторического развития был задан рождением Христа, принцип историзма отчетливо прозвучал уже в Новом Завете. На чувстве христианского историзма выростала европейская культура. Впрочем, Библия в целом не знает победоносной идиллии, райское блаженство Адама и Евы слишком ненадежно и кончается катастрофой. Забегая вперед, заметим, что отрицание Толстым истории было чревато серьезной опасностью и привело его в конечном счете к отрицанию всей общественно-государственной структуры России и перелицовке христианства.

Толстой в своем романе-эпопее словно останавливает счастливое мгновение национального единения, «жизнь этого целого, особенного и единого народа» (VII, 223). Гете предупреждал об опасности желанья — остановить мгновение. Каково же следствие такого поэтического отказа от истории в реальной истории? Об этом Василий Розанов:

Русь слиняла в два дня. Самое большее — в три. [...] Не осталось Царства, не осталось Церкви, не осталось войска. Что же осталось-то? [...] Остался подлый народ, из коих вот один, старик лет 60-ти, и такой серьезный, Новгородской губернии, выразился: из бывшего царя надо бы кожу по одному ремню тянуть. [...] И что ему царь сделал, этому серьезному мужичку? [...] Вот тебе и Толстой, и Алпатыч, и *Война и мир*<sup>14</sup>.

Насколько не случаен такой результат?

Хосе Ортега-и-Гассет называл Гете патрицием культуры, наследником всех культурных ценностей мира: «Гёте — патриций среди классиков. Этот человек жил на доходы от прошлого. Его творчество сродни простому распоряжению унаследованными богатствами»<sup>15</sup>. В контексте этого рассуждения Толстой выступает за «пролетаризацию культуры» (термин Ортега-и-Гассета), отказываясь от культурного наследия всякого — от науки, искусства, церкви, армии и государства. В трактате *Что такое искусство?* к «рассудочным, выдуманым произведениям» он отнес произведения

<sup>14</sup> В. В. Розанов: *Апокалипсис нашего времени*. Москва 1990, с. 5. Курсив мой — В. К.

<sup>15</sup> Х. Ортега-и-Гассет: *В поисках Гёте*. В кн.: Х. Ортега-и-Гассет: *Эстетика. Философия культуры*. Москва 1991, с. 436.

[...] греческих трагиков, Данта, Тасса, Мильтона, Шекспира, Гёте (почти всего подряд), из новых — Зола, Ибсена, [...] в живописи — всего Рафаэля, всего Микеланджело с его нелепым *Страшным судом*; в музыке — всего Баха и всего Бетховена (XV, 141).

С точки зрения так называемого «человека из народа» он отверг и Пушкина:

Надо только представить себе положение такого человека из народа, когда он [...] узнает, что в России духовенство, начальство, все лучшие люди России с торжеством открывают памятник великому человеку, благодетелю, славе России — Пушкину. [...] Каково же должно быть его недоумение, когда он узнает, что Пушкин был человек больше чем легких нравов, что умер он на дуэли, т.е. при покушении на убийство другого человека, что вся заслуга его только в том, что он писал стихи о любви, часто очень неприличные (XV, 187).

Такой отказ от ценностей культуры и цивилизации, желание свести потребности человека к минимуму, опора на жестокий сверхморализм приводили великого моралиста к самым потрясающим и, как ни парадоксально, антигуманным и антиморальным выводам. В *Крейцеровой сонате* (где, кстати, он обвиняет немца Бетховена в пробуждении неконтролируемых жестоких эмоций) Толстой призывает человечество перестать размножаться. Странное желание, чтобы после него и жизни не было, почти дьявольское. Чехов увидел в этой позиции с а м о д у р с т в о:

Толстой отказывает человечеству в бессмертии, но, Боже мой, сколько тут личного! [...] Черт бы побрал философию великих мира сего! Все великие мудрецы деспотичны, как генералы, и невежливы и неделикатны, как генералы, потому что уверены в безнаказанности. Диоген плевал в бороды, зная, что ему за это ничего не будет; Толстой ругает докторов мерзавцами и невежничает с великими вопросами, потому что он тот же Диоген, которого в участок не поведешь и в газетах не выругаешь<sup>16</sup>.

Однако, скажут, Толстой землю пахал, сапоги тачал, призывал к ненасилию, т.е. одна из его жизненных позиций — стать малым (не случайно ведь его нелюбовь к общепризнанным великим людям — Наполеону, Гёте и т.п.). Но быть самым малым — тоже можно понять как дьявольский соблазн. В дневнике 1906 г. есть такая странная запись:

Есть большая прелесть, соблазн в восхвалении, в пользовании славой, но едва ли не большая еще есть радость в самоунижении (XXII, 227).

Но совместим ли соблазн быть малым с яростной проповедью, которую слушают миллионы? Зачем на бунт против преимуществ цивилизации призывать

<sup>16</sup> *Переписка А. П. Чехова...*, Т. 1, с 231–232.

толпы? Не случайно, испанский философ, говоря о восстании варварства, отказывался предать цивилизацию, считая, что в отказе от своего высшего предназначения видно дьявольское:

Люцифер был бы не меньшим мятежником, если бы метил не на место Бога, ему не уготованное, а на место низшего из ангелов, уготованное тоже не ему. (Будь Люцифер русским, как Толстой, он, наверно, избрал бы второй путь, не менее богоборческий.)<sup>17</sup>.

Первым в ряду великих отказов графа, как мы видели, стоял отказ от истории, который закономерно привел к отказу от реальности. Россия пытается европеизироваться, а он всю силу своего гения бросает на то, чтобы показать невозможность развития и истории. Толстой накануне писания эпоса твердо заявлял:

Ребенка развивают всё дальше и дальше, и всё дальше и дальше удаляются от бывшего и уничтоженного первообраза. [...] *Идеал наш сзади, а не впереди* (XV, 32; курсив Толстого — В. К.).

Эту установку на неисторию, на неразвитие можно проследить и в обращении графа к другим сферам человеческого бытия. Не он первый, скажем, выступал против техники, но любопытен аргумент. В 1863 г. в статье *Прогресс и определение образования* он писал:

Несомненный факт всегдашнего противодействия народного духа к введению железных дорог существует во всей своей силе. Народ примиряется с ними только в той мере, в которой, испытав соблазн железных дорог, он сам делается участником этой эксплуатации. Настоящий народ, т.е. народ, прямо, непосредственно работающий и живущий плодотворно, народ преимущественно земледелец, 9/10 всего народа, без которых бы немыслим был никакой прогресс, всегда враждебно относился к ним. [...] *И потому я должен склониться на сторону народа, на том основании, что, 1-е, народа больше, чем общества, и что потому должно предположить, что большая доля правды на стороне народа; 2-е и главное — потому, что народ без общества прогрессистов мог бы жить и удовлетворять всем своим человеческим потребностям. [...] Прогрессисты же не могли бы существовать без народа* (XVI, 85–87).

Отсюда следуют некие выводы: во-первых, очевиден страх перед большинством, которое может всех погнать (это и есть на самом деле реакция на возможный мужицкий бунт — не противостоять, как советовал Пушкин в *Капитанской дочке*, не просветлять, а слиться с массой, чтоб уцелеть в катастрофе), а второе — неприятие (или непонимание) того обстоятельства, что все великие человеческие открытия (духовные, научные, технические)

<sup>17</sup> Х. Ортега-и-Гассет: *Восстание масс*. В кн.: Х. Ортега-и-Гассет: *Эстетика. Философия культуры...*, с. 342.

создавались усилиями единиц и лишь потом принимались массой, но третье и важнейшее — забвение подвига Христа, принцип жизни которого был апелляция не к массе, а к истине, отсюда, кстати, у Толстого и непонимание истории, которая движется через трагическое деяние единиц.

Казалось бы, Достоевский тоже апеллировал к народу, однако отличие этой апелляции от толстовской принципиальное. Стоит привести его слова (для контраста) о любви к народу:

Обстоятельствами всей почти русской истории народ наш до того был предан разврату и до того развращаем, соблазняем и постоянно мучим, что еще удивительно, как он дожил, сохранив человеческий образ, а не то что сохранив красоту его. [...] Судите русский народ не по тем мерзостям, которые он так часто делает, а по тем великим и святым вещам, по которым он и в самой мерзости своей постоянно воздыхает. А ведь не все же и в народе — мерзавцы, есть прямо святые, да еще какие: сами светят и всем путь освещают!<sup>18</sup>.

Иными словами, у Достоевского опора не на арифметическое большинство, которое он решительно и не трусливо осуждает, а на всегдашних семь праведников, на единиц, которые и составляют смысл и суть жизни народа и являются двигателями жизни и истории. Но Толстой не может принять эту веру в единичных святых, как не мог принять он идею Гегеля о всемирно-исторических личностях как доверенных лицах мирового духа.

За исключением себя. Надо заметить, что свою писательскую миссию на Земле Толстой считал выполненной, полагая себя первым среди мировой литературы:

Думая о той славе, которую приобретут мне мои сочинения, я говорил себе: «Ну хорошо, ты будешь славнее Гоголя, Пушкина, Шекспира, Мольера, всех писателей в мире, — ну и что ж!» (XVI, 116).

Отрицание всех устоев европейской цивилизации — истории, науки, искусства, государства, армии — приводило Толстого к тому же, к чему пришел Ницше: к переоценке христианства, к попытке преодолеть историческое христианство. Но если Ницше назвал в своем люцеферическом восстании христианство (*Антихрист. Проклятие христианству*, 1888) «религией рабов», а потому и проклял его, то — и это поразительно — Толстой отрицает реальное христианство оттого, что оно недостаточно исходит из нужд самого простого люда. Но, как замечал Ортега-и-Гассет, это тоже вариант люцеферической борьбы с Божественной истиной.

Толстой полагал, что, только служа народу, можно быть истинно нравственным. Исходя из того, что личностное искусство народом не принимается, он отвергает его, предлагая систему нового — подлинно народного

<sup>18</sup> Ф. М. Достоевский: *Полное собрание сочинений*. В 30-ти т. Т. 22. Ленинград 1981, с. 43.

— искусства, идею, подхваченную Лениным и большевиками, о прямой пользе искусства, к которому не надо возрастать духовно, а которое само спускается к низшим слоям:

А отчего бы, казалось, людям искусства не служить народу? Ведь в каждой избе есть образа, картины, каждый мужик, каждая баба поют; у многих есть гармония, и все рассказывают истории, стихи; и читают многие. [...] Скажите живописцу, чтобы он [...] рисовал бы пятикопеечные картинки; он скажет, что это значит отказаться от искусства, как он понимает его. Скажите музыканту, чтобы он играл на гармонии и учил бы баб петь песни; скажите поэту, сочинителю, чтобы он бросил свои поэмы и романы и сочинял песенники, истории, сказки, понятные безграмотным людям; они скажут, что вы сумасшедший (XVI, 346).

Но ленинско-сталинский диктат именно такого служения требовал от художников из страха смертного и желания выжить. Не случайно, Федор Степун замечал по этому поводу:

Под бичующими ударами толстовского морализма падают все культурные ценности. Если Ницше проповедовал переоценку всех ценностей, то Толстой проповедует их обесценивание. Гений художественного воплощения Толстой-теоретик был злым духом развоплощения<sup>19</sup>.

В эмиграции, после опыта русской революции (зеркалом которой Ленин справедливо назвал Толстого), Бердяев так оценивал творчество «великого писателя земли русской»:

Презрение к великим людям и героям, претендующим по-своему направить жизнь, отсюда отвращение к Наполеону и любовь к Кутузову. Уже в *Воине и мире* Толстой целиком на стороне «природы» против «культуры», на стороне стихийных процессов жизни, которые представляются ему божественными, против искусственной и насильственной организации жизни по разуму, сознанию и нормам цивилизации<sup>20</sup>.

Природа много значила для Толстого. И больше всего на свете возлюбил жизнь, он безумно — как ни один из писателей — боялся смерти. Почти в каждом его произведении есть изображение смерти — и ужас, что напрасно он так работал, старался, делался великим, если все равно умирать. У Толстого был поразительный страх смерти, словно он боялся очнуться в аду, страх перед потусторонним бытием, которое он даже боится вообразить себе. А христианство, заботясь о жизни человека на Земле, тем не менее жизнь вечную обещает не здесь, а в потустороннем мире. Раз жизнь кончается смер-

<sup>19</sup> Ф. Степун: *Религиозная трагедия Льва Толстого*. В кн.: Ф. Степун. *Встречи*. Москва 1998, с. 36.

<sup>20</sup> Н. А. Бердяев: *Л. Толстой*. В кн.: *Н. А. Бердяев о русской философии*. В 2-х т. Т. 2. Свердловск 1991, с. 40.

тью даже великих, она, по логике Толстого, есть зло. Только три человека это поняли, как он считает:

*Мое положение с Шопенгауэром и Соломоном, несмотря на нашу мудрость, глупо: мы понимаем, что жизнь есть зло, и все-таки живем (XVI, 143).*

Толстому страшно именно потому, что он не принял истории, которая дает вечную жизнь на Земле. Но закономерно, что, отвергнув земную историю, он отверг и Священную историю.

В поисках смысла жизни он обратился к христианству:

*Я смотрю на христианство не как на исключительное божественное откровение, не как на историческое явление, я смотрю на христианство, как на учение, дающее смысл жизни<sup>21</sup>.*

Но он не мог принять его просто, он подвергает переоценке и пересмотру евангельское учение, как оно сложилось исторически. Это ясно сформулировано им в *Исповеди* (1882):

*И я обратил внимание на все то, что делается людьми, исповедующими христианство, и ужаснулся. [...] Но откуда взялась ложь и откуда взялась истина? И ложь и истина переданы тем, что называется церковью. И ложь и истина заключаются в предании, в так называемом священном предании и писании (XVI, 162).*

Заметим, что стилистика при этом евангельская, как в *Заратустре* Ницше. Сам стиль говорит, что Толстой вполне серьезно считает свой текст новым Евангелием, но, отказавшись от исторического христианства, он под видом христианства дал нечто иное, ибо истинную веру он нашел не в церкви, а у русского мужика, еще связанного с языческой религией Земли.

У Бунина в *Освобождении Толстого* есть одно очень важное соображение. Рассуждая о судьбе Толстого, он вспоминает знаменитое место в Евангелии о дьяволовом искушении Христа славой мира сего. Христос отказывается. Но в связи с этим невольно напрашивается сравнение двух смертей — Христа и Толстого. Первый умер в неизвестности на кресте, сопровождаемый горсткой напуганных учеников. Второй умирает в сиянии славы, весь мир следит за каждым его вздохом, «толстовство» исповедуется тысячами людей, о нем пишут ученые, как о грандиозном религиозном явлении. И Бунин задается вопросом: результат смерти Христа нам известен. а каков будет результат учения Толстого?

В статье о Ницше, как об одном из антихристианских учителей, Владимир Соловьев замечает, что русскими людьми владеют

<sup>21</sup> Л. Н. Толстой: *Краткое изложение Евангелия*. В кн.: *Евангелие Толстого*. Москва 1992, с. 12. Курсив Л. Толстого.

[...] по крайней мере три очередные или, если угодно, модные идеи — экономический материализм, отвлеченный морализм и демонизм «сверхчеловека». Из этих трех идей, связанных с тремя крупными именами (Карла Маркса, Льва Толстого, Фридриха Ницше), первая обращена на текущее и насущное, вторая охватывает отчасти и завтрашний день, а третья связана с тем, что выступит послезавтра и далее<sup>22</sup>.

Именно против той, что охватывает отчасти и завтрашний день, он выступил в своем предсмертном и гениальном сочинении *Три разговора*, прямо обратив его против толстовства и создания Толстым того, что философ назвал «мнимым евангелием»<sup>23</sup>. Создав образ антихриста, он отчасти объединил в его облике черты и идеи Ницше и Толстого.

В чем же можно увидеть мнимость толстовского Евангелия? Просто-напросто Толстой убрал из Евангелия все, что каким-то образом говорило о божественном происхождении Христа. Если он не Бог, с ним возможно соперничать и опираться на него, имея право исправлять его учение.

Для меня совершенно было все равно: Бог или не Бог Иисус Христос, и то, от кого исшел святой дух. [...] 1800 лет тому назад явился какой-то нищий и что-то поговорил. Его высекли и повесили, и все про него забыли, как были забыты миллионы таких же случаев, и лет 200 мир ничего не слышал про него. Но оказывается, что кто-то запомнил то, что он говорил, рассказал другому, третьему. Дальше больше, и вот миллиарды людей умных и глупых, ученых и безграмотных не могут отделаться от мысли, что *этот, только этот* человек был Бог. Как объяснить это удивительное явление? Церковники говорят, что это произошло оттого, что Иисус точно был Бог. И тогда все понятно. Но если он не был Бог, то как объяснить, что *именно этот простой человек* признан всеми Богом?<sup>24</sup>

Ведь если Христос не Бог, то тогда и другому доступно такое же — создать истинную религию. И дело не в Его божественном происхождении, «а только в том, что проповедовал этот человек такое особенное, что заставило людей выделить его из всех и признать Богом тогда и теперь»<sup>25</sup>. Откуда же взялось представление о божественности Христа? По мысли Толстого, люди часто объясняют простые вещи волшебством, с рассуждения об этом обстоятельстве он начинает свое изложение Евангелия, дающее ему право на поправку идей Христа: «*Иисус был сын неизвестного отца. Не зная отца своего, он в детстве своем называл отцом своим Бога*». И снова — в конце абзаца — повтор: «*Не зная своего плотского отца, Иисус отцом своим признавал Бога*»<sup>26</sup>.

<sup>22</sup> В. С. Соловьев: *Идея сверхчеловека*. В кн.: В. С. Соловьев: *Сочинения*. В 2-х т. Т. 2. Москва 1989, с. 611.

<sup>23</sup> В. С. Соловьев: *Три разговора*. В кн.: В. С. Соловьев: *Собрание сочинений*. В 10-ти т. Т. 10. СПб. [б.г.], с. 84.

<sup>24</sup> Л. Н. Толстой: *Краткое изложение Евангелия*. В кн.: *Евангелие Толстого*. Москва 1992, с. 13.

<sup>25</sup> Там же, с. 14.

<sup>26</sup> Там же, с. 17. Курсив Л. Толстого.

Говорят, что Толстого нельзя даже отдаленно помыслить как антихриста, ведь это был абсолютно гениальный писатель, призывавший к добру и много сделавший реальных добрых дел. На это можно ответить, что антихрист и должен быть гением, иначе ему не прельстить все человечество. А вот и соловьевский портрет антихриста:

Был в это время [...] один замечательный человек — многие называли его сверхчеловеком. [...] Он был еще юн, но благодаря своей высокой гениальности к тридцати трем годам широко прославился как великий мыслитель, писатель и общественный деятель. [...] Ясный ум всегда указывал ему истину того, во что должно верить: добро, Бога, Мессию. В это он верил, но любил он только одного себя. [...] Помимо исключительной гениальности, красоты и благородства высочайшие проявления воздержания, бескорыстия и деятельной благотворительности, казалось, достаточно оправдывали огромное самолюбие великого спиритуалиста, аскета и филантропа. И обвинять ли его за то, что, столь обильно снабженный дарами Божиими, он увидел в них особые знаки исключительного благоволения к нему свыше и счел себя вторым по Боге, единственным в своем роде сыном Божиим. Одним словом, он признал себя тем, чем в действительности был Христос<sup>27</sup>.

Каков все же окончательный вывод Соловьева? Обвинение или пока еще предупреждение графа об опасности его пути? Скорее, второе. В *Трех разговорах* одно из действующих лиц, Князь, персонифицирует идеологию толстовства. И любопытствующая Дама, непременный персонаж прозы конца века, возбужденно спрашивает: «Как, вы думаете, что наш князь — антихрист?» На что получает резонный ответ: «Ну, не лично, не он лично: далеко кулику до Петрова дня! а все-таки на той линии»<sup>28</sup>. Очевидно, Соловьев видел в Толстом не антихриста, а мыслителя, пролагающего пути антихристу. И дело не в том, что граф выступил против Церкви, тем более нельзя назвать его атеистом. Если Ницше выступал с твердым неприятием христианства и всех тех духовных ценностей европейской культуры, которые были им порождены, то Толстой пытался собой подменить Христа. Уже в статье 1912 г. Бердяев отметил эту особенность религиозных усилий великого писателя:

Л. Толстой хочет исполнить волю Отца не через Сына, он не знает Сына и не нуждается в Сыне. Религиозная атмосфера богосыновства, Сыновней Ипостаси не нужна Толстому для исполнения воли Отца: *он сам, сам исполнит волю Отца, сам может*<sup>29</sup>.

Но пытаться превзойти Христа — значит шутить опасную шутку с историей и мировым развитием. И «великий отказ» от искусства, науки, церкви,

<sup>27</sup> В. С. Соловьев: *Три разговора...*, с. 197–198.

<sup>28</sup> Там же, с. 161.

<sup>29</sup> Н. А. Бердяев: *Ветхий и Новый завет в религиозном сознании Л. Толстого*. «Вопросы литературы» 1991, № 8, с. 139. Курсив мой — В. К.

государства свидетельствовал как о социальных борениях писателя, выражении крестьянских взглядов («зеркало русской революции»), так и о более существенном — признании ошибкой почти двухтысячелетнее развитие христианской культуры. Отказ от европеизма, европейских ценностей приводит в конечном счете к отказу от христианства. Ибо основа европейской культуры со всеми ее противоречиями и есть противоречивое христианство. Если атеист и вольнодумец Пушкин, все глубже усваивая европейскую культуру, пришел к христианству, то путь Толстого прямо противоположный.

Синод отлучил Толстого от церкви, но определение было очень мягким и оставляло надежду на возвращение, в случае, если Толстой перестанет проклинать церковь и найдет с ней пути примирения и компромисса: «Церковь не считает его своим членом и не может считать, доколе он не раскается и не восстановит своего общения с нею»<sup>30</sup>. Впрочем, церковь делала все это в ответ на действия Толстого. Скажем, Алданов пишет с ужасом, что за четыре месяца до смерти Толстой отверг Евангелие. Приведем запись секретаря Толстого В. Ф. Булгакова от 22 июня 1910 г., на которой основывается заключение Алданова:

Лев Николаевич высказался против обязательности евангельских текстов, *которые извращены*.

— Не хочется мне этого говорить, но уж я скажу: как раньше я любил Евангелие, так теперь я его разлюбил.

Потом прочли одно прекрасное место из Евангелия, *по изложению Льва Николаевича* (курсив мой — В. К.).

— Я опять полюбил Евангелие, — произнес он улыбаясь<sup>31</sup>.

Разумеется, можно испугаться. Страх Алданова понятен. Граф любил только свое Евангелие, отказавшись от Христова. Извратили, де, евангелисты, а только он подлинно проник в слово Христа, ибо сам то же, что и Христос. Но самое главное, как несложно увидеть, что это не решение последних лет, а простое формулирование и развитие ранее сказанного. Отказ от науки и культуры мог вести только к отказу от защиты человека в опасностях жизни, от настоящей любви к нему. Самый, пожалуй, нормальный русский писатель (нормальный гуманист) Чехов 27 марта 1894 г. написал Суворину:

<sup>30</sup> «Церковные ведомости» 24 февраля 1901, № 8. Стоит привести реакцию одного из выдающихся современников Толстого на это событие. «Тот, кто, по свидетельству самого Толстого, назвал его дьяволом в человеческом образе, был недалек от истины, той истины, которую Толстой заменил христианство, — писал тогда Н.Ф. Федоров. — Призывающий Россию к неплатежу податей обвиняет в подстрекательстве синодальное определение, *отличающееся неизъяснимою мягкостью*. Толстой сам недоволен этой мягкостью. Ему очень бы хотелось поруганий, поношений, что придало бы ему ореол мученика: а он так жаждет дешевой ценой приобретенного мученичества» (Н. Ф. Федоров: *Сочинения*. Москва 1982, с. 639. Курсив мой — В. К.).

<sup>31</sup> В. Булгаков: *Л. Н. Толстой в последний год его жизни*. Москва 1989, с. 260.

Толстовская философия сильно трогала меня, владела мною лет 6–7, и действовали на меня не основные положения, которые были мне известны и раньше, а толстовская манера выражаться, рассудительность и, вероятно, гипнотизм своего рода. Теперь же во мне что-то протестует; расчетливость и справедливость говорят мне, что в электричестве и паре любви к человечеству больше, чем в целомудрии и в воздержании от мяса. Война зло и суд зло, но из этого не следует, что я должен ходить в лаптях и спать на печи вместе с работником и его женой и проч. И проч. Но дело не в этом, не в «за и против», а в том, что так или иначе, а для меня Толстой уже уплыл, его в душе моей нет, и он вышел из меня, сказав: се оставляю дом ваш пуст. Я свободен от постоя<sup>32</sup>.

Парафраз евангельской фразы, означающий, что псевдохристос вышел из него. Теперь надо ждать настоящего: «Се оставляется вам дом ваш пуст. Ибо сказываю вам: не увидите Меня отныне, доколе не воскликните: «благословен Грядый во имя Господне!» (Мф 23, 38–39).

Но революционно настроенные поздние современники Толстого приняли и поддержали это его желание превзойти Бога. «А с неба смотрела какая-то дрянь // величественно, как Лев Толстой», – так резюмировал Маяковский окончание тяжбы Толстого с Богом в сознании соотечественников писателя. Отсюда недалек шаг и к большевистскому самозванничеству, расстреливавшему массово «попов» казенной церкви<sup>33</sup>, отвергшему «буржуазную» культуру и историю и объявившему Октябрьскую революцию высшей и последней вехой в развитии человечества, после которой люди вырываются из принудительности исторического процесса, классовых противоречий и, отбросив веру в потустороннее воздаяние, строят царство счастья на Земле, как того и хотел граф Толстой. А лечение от «умствования», на которых воспитывался юный Николенька из толстовской трилогии, заключалось в принудительном труде, которое, впрочем, тоже напророчил граф Толстой.

Оказалось, что, отдав на физический труд восемь часов — ту половину дня, которую я прежде проводил в тяжелых усилиях борьбы со скукою, у меня оставалось еще восемь часов, из которых мне нужно было по моим условиям только пять для умственного труда; оказалось, что если бы я, весьма плодовитый писатель, 40 почти лет ничего не делавший, кроме писания, и написавший 300 листов печатных, — если бы я работал все эти 40 лет рядовую работу с рабочим народом, то, не считая зимних вечеров и гулевых дней, если бы я читал и учился в продолжение пяти часов каждый день, а писал бы по одним праздникам, по две страницы в день (а я писывал по листу печатному в день), то я написал бы те же 300 листов в 14 лет.

Оказалось удивительное дело: самый простой арифметический расчет, который может сделать семилетний мальчик и которого я до сих пор не мог сделать. В сутках 24 часа; спим мы 8 часов, остается 16. Если какой бы то ни было человек умственной

<sup>32</sup> *Переписка А. П. Чехова...*, Т. 1, с. 248.

<sup>33</sup> Ленин писал: «Святейший синод отлучил Толстого от церкви. Тем лучше. Этот подвиг зачтется ему в час народной расправы с чиновниками в рясах» (В. И. Ленин: *Л. Н. Толстой*. В кн.: *В. И. Ленин о литературе и искусстве*. Москва 1969, с. 221).

деятельности посвятит на свою деятельность 5 часов каждый день, то он сделает страшно много. [...] Оказалось, что физический труд не только не исключает возможность умственной деятельности, не только улучшает ее достоинство, но поощряет ее (XVI, 367–368).

Это слова человека, никогда не работавшего принудительным трудом, который занимает все время и силы, изматывает донельзя, а также не учитывающего простого факта, что почему-то занятые физическим трудом не пишут стихов, поэм и романов. Ко всему прочему мы видим здесь и прямое предвещание государственной политики большевиков и маоистов по созданию исправительно-трудовых лагерей для интеллигенции, где физический труд должен был оздоровить их мозги. Думаю, Толстой ужаснулся бы, узнав, как отозвалось в судьбе России его слово. И тем не менее именно Толстой дал моральную санкцию действиям большевиков. Ниспровергнув в своих сочинениях государство, церковь (да и христианство вообще), армию, европейскую цивилизацию и искусство высших классов, граф Лев Толстой показал русским большевикам-нигилистам, что оказывается так говорить и действовать можно, и его авторитет оказался на стороне самых разрушительных веяний русской истории. «Клячу истории», следуя идеям графа, большевики загнали, выкинув Россию из европейского исторического процесса.

*Władimir Kantor*

#### LEW TOŁSTOJ JAKO PREKURSOR BOLSZEWIZMU

##### Streszczenie

Fakt, że Lew Tołstoj w znacznym stopniu ideowo przygotował bolszewizm, stało się dla wielu (O. Spengler, S. Frank) oczywiste po Październiku 1917. Korzenie tego „prebolszewizmu” tkwiły w światopoglądzie pisarza: jego antyhistoryzmie (negacji ideałów Europy oraz dziejów Rosji), odrzuceniu instytucji państwa, Cerkwi, kulturowym nihilizmie, apologii prostego ludu i kulcie pracy fizycznej. Ekstremistyczny moralista stał się, chyba wbrew swoim intencjom, sojusznikiem najbardziej nieludzkiego systemu.

*Vladimir Kantor*

## LEV TOLSTOY AS A FORERUNNER OF BOLSHEVISM

## Summary

It became obvious for many (O. Spengler, S. Frank) after October 1917 that, to a considerable degree, Lev Tolstoy prepared bolshevism ideologically. That 'prabolshevism' traced its roots back to the writer's world view: to his antihistorism (the negation of Europe's ideals and history of Russia), rejection of the institutes of the state, rejection of Orthodox Church, cultural nihilism, apology of common people and cult of physical work. The extremist moralist became, against his own intentions, an ally of the most inhumane system.